

ЛАНА
МЕЙЕР

АЛЕНА
ДИЖ

ЗДЕСЬ
ВСЕ РЕШАЮ Я,

Шташка...

ШТАШКА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

ЗАКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ • ТАЙНЫ • ОПАСНЫЕ ЧУВСТВА

Алена Диж Лана Мейер Пташка

<https://litres.ru/74655199>

SelfPub; 2026

Аннотация

Меня зовут Алиса Ланская. Мне двадцать, и я всегда мечтала только об одном — вырваться из нищеты.

Поэтому я согласилась за сто тысяч отнести бутылку вина в номер отеля и забрать белый конверт.

Через несколько минут постоялец был мёртв. А я теперь главная подозреваемая.

Вместо тюрьмы мне предложили закрытую академию, откуда не уходят по своей воле.

Мой инструктор — Николас Северский. Холодный, опасный, на одиннадцать лет старше. Он ненавидит моего брата. И теперь у него есть я.

Он запер меня, чтобы отомстить.

Я поклялась сбежать.

Но из «Северной» ещё никто не сбегал.

— Здесь всё решаю я, пташка.

**Лана Мейер, Алена Диж
Пташка**

Глава 1

У меня было три способа покинуть этот остров: выпуститься, сбежать или умереть. Я выбрала второй. Похоже, получится третий.

Лёд под моими ногами заканчивается.

Босые, разодранные до крови ступни упираются не в звенящую твердь, а снег. Рыхлый, глубокий, я то и дело проваливаюсь в него по колено. У меня не было времени надеть пальто и обуться. Шанс сбежать из академии выпадает лишь пару раз в год.

Я падаю, окружающий мир проплывает перед глазами, словно в замедленной съемке. Успеваю заметить чёрную стену ёлок впереди, перед тем как выбросить руки вперед и столкнуться с сугробом. Они ощущаются чужими, не говоря уже о том, что вид посиневших ногтей внушает мне ужас. Была бы сейчас настоящая ночь, я бы их не увидела. Но поллярный день меня не щадит, солнце заливает лес, и я давно потеряла счет времени.

Успеваю лишь подумать, что сейчас будет больно.

Удар выбивает из меня весь воздух.

Я врезаюсь в снег грудью и лицом. Он забивается в рот, в нос, под ворот термобелья, за шиворот, ледяной крошкой сыплется по спине. Обрывок цепи, обвернутой вокруг моего запястья бьёт меня по скуле — коротко, хлёстко, металлом

по кости. Во рту ощущается вкус крови и снега.

Я пытаюсь вдохнуть и не могу. Грудь сжата, лёгкие пустые и сплюсненные. Открываю рот, как рыба на льду, и наконец втягиваю воздух и кашляю. Каждый вдох отдаётся болью в рёбрах.

А потом я просто замираю. И жду, когда станет окончательно холодно и темно.

Мне всего двадцать. И мне так хочется жить...

Снег уже даже не ощущается холодным. И это хуже всего, черт возьми.

Он уже не холодный...я просто его не чувствую.

Я лежу и слушаю, как бьётся сердце. Медленно. Тяжело. Как колокол на острове, только глуше, будто его обернули ватой. Раз. Пауза. Раз.

Вставай.

Голос в голове звучит баритоном брата. Он всегда звучит как Филипп, когда мне совсем плохо.

Вставай, Лиса. Лёд позади. Ты дошла.

Я поднимаюсь на руки. Цепь на правом запястье звякает: короткий обрывок в четыре звена, отходящий из наручника, подобно хвосту. На левом висит такой же. Металл примёрз к коже. Когда я двигаю рукой, кожа отрывается от него с тихим влажным треском, и мне уже не больно. Мне просто всё равно.

Это тоже плохо. Я знаю, что это уже очень плохо. Возможно, через пару минут я окончательно отключусь от переохла-

ждения.

Я не знаю и не помню, как оказываюсь в точке, где чёрные ели стоят вокруг меня плотной стеной, плечом к плечу. Между стволами пробивается холодный свет полярного солнца. А тишина стоит такая густая, что в ушах начинает звенеть.

Под елями темнее и чуть тише ветер. Снег здесь сухой, скрипит, и каждый скрип выстреливает в тишину, как хруст сломанной кости. Я цепляюсь за ветки, а иглы режут ладони. Моя кровь на снегу кажется черной.

Ещё шаг. Ещё. Там должна быть дорога. Деревня. Хоть кто-нибудь.

Я падаю и встаю, и снова падаю, собирая последние силы. Вдруг, я замечаю маленький долгожданный жёлтый квадрат. Это окно. А прямо над ним, на фоне неба, тонкая серая нитка дыма из трубы.

Охотничий домик.

Там явно есть печка. Там кто-то топит печку! Я уже мечтаю, как смогу сесть у огня и чувствовать, как пальцы начинают болеть, оттаивая, и плакать от этой боли, потому что она значит, что у меня еще есть руки и они не отвалились от обморожения.

Я ползу из последних сил. Не знаю, как мне это удаётся. Кажется, тело действует само, подчиняясь одному-единственному инстинкту — выжить.

Ползу к домику...

Тридцать метров. Может, сорок. И в момент, когда мне кажется, что я почти спасена, раздается звук: подозрительный хруст за елками.

Я резко останавливаюсь.

Тишина.

Потом хрустит справа.

И вслед за хрустом — звук, от которого всё, что ещё осталось у меня внутри живого, сжимается в одну маленькую точку под рёбрами.

Низкое, долгое рычание. Оно идёт не из горла, а из земли, из-под снега, из самого леса. Вибрирует у меня в коленях.

Из-за ели выходит первый волк.

Серый, худой, с белой мордой. Он не торопится. Он смотрит на меня жёлтыми глазами, и в этих глазах нет злобы. Он просто знает, чем всё закончится. Как Николас знал.

Второй выходит справа. Третий встаёт между мной и домиком. Прямо против солнца. Его тёмный силуэт обведён тонкой золотистой каймой, и я не могу разглядеть морду.

Дом становится дальше, чем остров, с которого я сбежала.

Беги.

Нет. От волков не бегают. Побежишь — догонят, как зайца.

Замри.

Я замираю. Цепь на запястье покачивается и звякает о наручник. Звук разлетается по лесу, и первый волк поворачивает на него голову. Делает шаг. Лапа беззвучно уходит в

снег.

Беги. Или замри. Или беги.

Мысли мечутся, как птица в закрытой комнате, бьются о стены, и ни одна не находит выхода. А тело уже все решило...остаться здесь навсегда. Тело слишком устало. Но мне больно от мысли, что мое тело, вдобавок ко всему, что оно пережило, еще и растерзают волки.

Это так просто. Лечь. Закрывать глаза. Сначала будет страшно, потом больно, потом — ничего. Никакой колокольни. Никакого Устава. Никаких иссиня-серых глаз, которые смотрят так, будто я принадлежу им.

Прости, Фил.

Я закрываю глаза.

Рычание становится ближе. Вдыхаю мерзкий запах мокрой шерсти и крови. Горячее дыхание касается щеки.

И тут лес взрывается рёвом двигателя.

Звук врезается в тишину, как нож. Нарастает, захлёстывает, несётся на меня из-за деревьев. Я не сразу понимаю, что это снегоход.

Сквозь прищуренные веки вижу, как между чёрными стволами мелькает что-то тёмное. Солнечный свет вспыхивает на лобовом стекле, на миг ослепляя меня.

Раздаётся выстрел.

Сухой, резкий хлопок раскалывает воздух. Эхо мечется между деревьями. Волчий визг тонет в грохоте мотора и гулком стуке крови в ушах.

Периферийным зрением я замечаю, как серые тени одна за другой исчезают в густой чаще.

Мотор глохнет и тишина возвращается, но я знаю, что разъяренный Николас Северский может быть куда опаснее стаи волков.

Шаги я узнаю раньше, чем голос.

Он не бежит. Он никогда не бежит. Он идёт ко мне ровно, неторопливо, как через двор академии, когда колокол уже пробил и все давно стоят в строю.

Его руки ложатся мне на плечи.

Такие тяжёлые. Такие горячие, что я вскрикиваю. Тепло проходит сквозь мокрую ткань, сквозь кожу, словно проникает прямо в кости. И это больно, словно мне вылили кипятка на обмороженные пальцы. Я дёргаюсь, но он не отпускает. Рывком поднимает меня и усаживает в снег. Моя голова мотается, как у куклы, и он сжимает мое лицо в ладонях.

Я открываю глаза.

Николас.

Преподаватель по искусству манипуляций стоит передо мной на коленях, прямо в снегу, в дорогих брюках, которые он никогда не позволил бы себе испачкать во дворе академии. Без шапки, как всегда. Снег блестит в его тёмных волосах, на ресницах рассыпан иней. Одна прядь упала на массивный лоб и липнет к влажной коже. Он дышит тяжело, рвано: пар вырывается из его полных губ клубами, и я понимаю, что он гнал. Гнал так, как, наверное, никогда в жизни.

ни не гнал.

За его спиной стоит снегоход. Половина лица скрыта в тени, но я всё равно различаю резкие линии скул и чувственный изгиб губ, от которых теряет голову едва ли не вся женская половина академии. Челюсть сжата, желваки играют.

Он смотрит на меня всего секунду. Быстро, цепко, словно с одного взгляда понимает, насколько я близка к тому, чтобы потерять сознание.

Но мне эта секунда кажется вечностью.

Его глаза будто светятся сами по себе. Светло-серые. Ледяные.

Такими злыми я их ещё никогда не видела.

Его взгляд скользит по мне — медленно, сверху вниз. По мокрому термобелью, прилипшему к телу и ставшему почти прозрачным. По наручникам и обрывкам цепей. По босым, разодранным ступням. Задерживается на моей скуле, где горит свежая ссадина от цепи. И я вижу, как у него на виске вздувается жилка.

Он молчит.

Пальцы впиваются мне в плечи: сильно, до синяков. Как будто, если он ослабит хватку, я растворюсь в этом снегу и он больше никогда меня не найдёт.

Я чувствую, как дрожат его руки.

Николас Северский, для друзей можно просто Север. Человек, у которого никогда ничего не дрожит.

— Лучше замёрзнуть насмерть, — говорит он тихо, —

вместо того, чтобы отсосать мне?

Произносит тихо, почти шёпотом. Каждое слово он чека-
нит отдельно, словно рассекает лед. Чем он злее, тем тише.
Я уже знаю.

И сейчас он почти не слышен.

Он наклоняется ко мне довольно медленно, или мне так
кажется, потому что я потеряла ориентацию во времени и
пространстве от этого безумия. Так близко, что иней с его
ресниц мог бы упасть мне на лицо. Его дыхание касается мо-
их губ.

Горячее.

Первое тепло, которое я чувствую с тех пор, как решила-
сь на побег. Оно ложится на мои онемевшие губы, и губы на-
чинают покалывать тысячей мелких игл, так мучительно и
жадно.

Я ненавижу его за это. Я ненавижу себя.

— Настолько я тебе противен, пташка?

Последнее слово срывается. Едва заметно, на полвыдохе.
Если бы я не смотрела на его губы, я бы не заметила.

Но я смотрю.

У меня не осталось сил. Губы не слушаются, язык распух,
в горле сухо, как в печке. Каждый вдох режет лёгкие.

Я поднимаю на него глаза. Прямо. Словно пытаюсь до-
стать своим взором до самого дна этого льда в его глазах.

— Ещё как, — шепчу я. — Меня от тебя тошнит, ублюдок.
Я лучше умру, чем встану в один ряд с твоими шлюхами.

Что-то вспыхивает у него в глазах. Боль? Ярость? Что-то, чего я не успеваю назвать.

И гаснет.

Лицо становится гладким и пустым, как лёд за моей спиной. Таким, каким я видела его в первый день, на пристани. Как будто он закрыл дверь и повернул ключ.

Он отпускает моё плечо. Берётся за обрывок цепи на моём запястье.

И начинает наматывать её на кулак.

Медленно. Звено за звеном. Металл звякает, скользит по коже его ладони, по белому шраму на ребре. Цепь становится короче. Короче. Меня тянет к нему: сначала руку, потом плечо, потом всю, пока моя ладонь не оказывается прижатой к его груди, а между нами не остаётся ничего.

Под ладонью стучит его сердце.

— Хорошо, я запомню твои слова, — вкрадчиво произносит он. — Так даже интереснее.

Он рывком поднимает меня на ноги.

Но они не держат меня. Колени складываются, и я валюсь на него — лицом в его грудь, всем телом, всей тяжестью, которой во мне почти не осталось. Он не отходит. Не подхватывает бережно, как в кино. Стоит, как стена, и держит меня за цепь, коротко, у самого кулака. Как держат собаку на поводке.

А свободной рукой распахивает свое пальто, и заворачивает меня в него, прижимая к груди.

Я словно в домике, в самом безопасном месте. Он прижимает меня к тёплому свитеру, к груди, к телу, которое пышет жаром, словно печка в том охотничьем домике. Полы пальто смыкаются у меня за спиной, и мир сужается до темноты, тепла и запаха.

Кедр. Дым. Мороз.

И что-то ещё, под ними... его кожа, горячая, живая, с солоноватым запахом пота. Он правда гнал.

Тепло обрушивается на меня, как волна. Оно не ласковое, а жестокое. Оно впивается в пальцы, в ступни, в лицо тысячами раскалённых игл, и я начинаю дрожать. Наконец-то. Крупно, неудержимо, всем телом — зубы стучат, колени бьются о его ноги. Тело вспоминает, что оно живое, и кричит об этом болью.

Его рука на моей спине прижимает сильнее. Ладонь лежит между лопаток, широкая, горячая, тяжёлая. Не гладит. Просто держит.

Не отпускает.

Я хочу оттолкнуть его. Правда хочу.

Мои руки вцепляются в его свитер.

— Ненавижу, — говорю я ему в грудь. Но не могу вырваться и даже пытаться. Рядом с ним слишком тепло. Слишком сладко. Слишком безопасно. Как у единственного источника жизни сейчас.

— Знаю, — его подбородок касается моей макушки. Голос надо мной холодный, ровный, как будто он зачитывает

очередной пункт устава. — Можешь ненавидеть. Можешь бежать. Можешь умирать в снегу, если тебе так больше нравится.

Пальцы на цепи сжимаются, и наручник впивается в стёртую кожу.

— Но наказания ты не избежишь, Алиса.

Он наклоняется к самому моему уху и снимает с себя пальто, заворачивая меня одну в согревающую и живительную ткань.

— Ни одного.

И прежде чем я успеваю ответить, мир переворачивается.

Он наклоняется, упирается плечом мне в живот и выпрямляется. Ноги отрываются от снега. Небо и ёлки меняются местами, кровь бросается в голову, и я вижу перед собой его спину, полы пальто и снег, который уплывает назад под его ботинками.

Он закинул меня на плечо, словно он охотник, а я добыча.

— Поставь меня! — Голос срывается в хрип. Я бью кулаком ему в спину, и цепь звякает о его лопатку. Удар выходит жалким, как у ребёнка. — Поставь, слышишь?!

— Ты не можешь стоять, дура, — он идёт ровно, размеренно, будто не несёт на себе человека. — Ты падаешь.

— Я сама дойду!

— Ты уже сама дошла. Чуть волки не сожрали.

— Волки лучше тебя!

— Волки съели бы тебя за пять минут, — ладонь ложит-

ся мне под колени, перехватывает крепче, и я чувствую его пальцы сквозь мокрую ткань. — А я никуда не тороплюсь.

От его тона у меня перехватывает дыхание. Сильнее, чем от холода.

Я извиваюсь. Он даже не сбивается с шага. Только чуть подбрасывает меня на плече, легко поправляя, как поправляют сползающую сумку и у меня из груди вырывается сдавленный звук.

Убью.

Я вцепляюсь зубами ему в спину, прямо сквозь свитер. Из всех сил, какие остались.

Он не вскрикивает. Не дёргается. Только шаг на секунду становится тяжелее. А потом я слышу звук, от которого у меня внутри всё переворачивается сильнее, чем от того, что я вишу вниз головой.

Он смеётся.

Тихо, коротко, почти беззвучно — я не слышу смех, я чувствую его, потому что он прокатывается по его спине, прямо мне в рёбра.

— Кусаешься, птишка, — говорит он. — Значит, жить будешь.

Дверь домика он открывает ногой.

Тепло ударяет в лицо, подобно пощёчине. Здесь пахнет берёзовыми дровами, смолой и горячим железом, а в печке трещит огонь.

Внутри никого.

Он сбрасывает меня с плеча на узкую кровать у печки и ее пружины скрипят в ответ. Колючее шерстяное одеяло обжигает голые ступни, и я сворачиваюсь клубком, потому что боль от тепла теперь везде, и я не знаю, куда от неё деться.

— А теперь, — говорит он тихо, — поговорим о наказании.

Глава 1

Алиса

В узком проходе у шестого стола чья-то ладонь с размаху шлёпает меня по заднице.

Звонко. Тяжело. По-хозяйски.

Поднос в руке дёргается, шесть бокалов звякают друг о друга, шампанское плещется через край и стекает мне по запястью, липкое и холодное. Я успеваю поймать равновесие. Не успеваю обернуться.

Позади гогочут. Мужской голос, довольный, сытый: «Ух, какая! Огонь!» Кто-то за тем же столом смеётся вместе с ним. Женщина в норковом палантине делает вид, что рассматривает свой маникюр.

Никто не говорит «извините». Никто вообще ничего не говорит. Как будто так и надо. Как будто я не человек, а часть интерьера, который включён в стоимость банкета: хрусталь, икра, официантки.

Кожу под атласом жжёт. Не от удара — от стыда. Он ползёт вверх по шее горячей волной, заливают щёки, уши, и мне хочется развернуться и вылить все шесть бокалов ему на голову. На лысину, на пиджак, на часы, которые он поправляет

каждые пять минут, чтобы все видели марку.

— Девушка, а вы улыбаться умеете? Или вам за это отдельно доплачивают?

А как тут улыбаться, когда тебя лапают, как кусок мяса на рынке? Когда трогают без спроса, а потом ещё требуют, чтобы ты была за это благодарна?

Мужчина в бордовом пиджаке ставит пустой бокал даже не глядя на меня, через плечо, как обычно протягивают мусор. Лицо его красное, а галстук сбит набок.

У меня рука скоро отвалится держать поднос. На нем возвышаются шесть бокалов с игристым, и каждый норовит съехать к краю, стоит мне вдохнуть поглубже. Свободной рукой успеваю поправлять красное атласное платье, обволакивающее меня до середины икр. Узкое, струящееся при каждом шаге... я выгляжу красиво и дорого, но на деле, я лишь обслуживающий персонал. Как и всегда.

Хотя форма на этот банкет меня очень порадовала. Это называется подачка «чтобы персонал вписывался в праздничную атмосферу». Двенадцать официанток в одинаковых алых платьях, как двенадцать бокалов из одного сервиза.

Единственное, что меня раздражает: бейдж с логотипом отеля: золотая волна, а под ней моё имя крупными буквами. «АЛИСА».

Чтобы гостям было удобно. Чтобы любой мог окликнуть меня, как окликают собаку.

Волосы стянуты в тугой хвост, а стойкая помада сушит

губы. Надеюсь, этот вечер скоро закончится и я как можно скорее окажусь в студенческой общаге и приму горячую ванную.

Я улыбаюсь. Широко, до самых дёсен. Пускаю в ход самую сладкую улыбку из своего арсенала.

— Доплачивают. Но вы уже седьмой, кто спрашивает, так что на вас бюджет закончился.

Секунду он переваривает. Я буквально вижу, как фраза ползёт по его мозгу и застревает где-то на полпути. Лысый и полноватый сосед по столу фыркает в салфетку. Его спутница — женщина в норковом палантине напротив прячет улыбку за бокалом.

Тогда до незнакомца доходит, что смеются над ним. И он, чтобы не проиграть, хохочет громче всех запрокинув голову, хлопнув ладонью по столу так, что подпрыгивают вилки.

— А эта официанточка-блондиночка мне нравится, острая на язык, — он тычет в меня пальцем, оглядывая соседей. — Наливай еще, Алиса.

Он прочитал имя на бейдже. Конечно. Для этого он там и висит.

Я наливаю ровно до середины, как учили, и ухожу раньше, чем он успевает придумать, что ещё у меня спросить.

Банкетный зал «Онего Паласа» сверкает, как ёлочная игрушка. Хрустальные люстры, белые скатерти...ведущий в блёстках орёт в микрофон про «дорогого Виктора Палыча». Здесь пахнет духами, горячим жиром от жульенов по-фран-

цузски и большими деньгами. За панорамными окнами простирается чёрная вода Онежского озера, а по ней ветер гонит ноябрьскую рябь.

В подсобке за служебной дверью Даша сидит на перевёрнутом ящике из-под минералки и растирает ступни.

— Я убью этого ведущего, — сообщает она, когда вхожу внутрь. — Задушу его же блёстками. Алис, у тебя пластырь есть?

Я кидаю ей пластырь, достав из своей крошечной сумочки. У меня всегда есть пластырь. У меня всегда есть всё: пластырь, иголка с ниткой, обезболивающее, запасные колготки. Когда работаешь в двух местах и учишься на заочке, становишься ходячей аптечкой.

Днём кофейня «Миндаль». Вечером банкеты в отеле. Три тысячи за смену плюс чаевые. Всё это идёт в банку с надписью «НА ПИТЕР», которая стоит у меня на подоконнике и пока что больше похожа на насмешку.

Телефон в кармане вибрирует.

Филипп: доедешь — напиши. гололёд

Мне двадцать. Брат до сих пор пишет мне «доедешь — напиши», как будто я впервые еду одна на троллейбусе.

Я: да, пап

Филипп: не умничай

Я улыбаюсь. По-настоящему, впервые за вечер. И тут сверху падает уведомление.

Фонд Северских. Результаты конкурса.

Улыбка остаётся на лице, а внутри становится очень тихо.

Полгода назад я до двух ночи писала мотивационное письмо. Оно, черт возьми, вышло на четыре страницы. Переписывала девять раз. Даша, когда читала его, даже всплакнула и выдала, что меня обязаны взять хотя бы из жалости.

Это моя мечта... Грант на обучение в частной академии, полная стипендия, общежитие, лучшие стажировки в будущем, блестящий карьерный рост. Пятнадцать мест на всю Россию. Единственный шанс уехать из этой дыры не через десять лет, а прямо сейчас.

Дрожащими пальцами я открываю письмо.

Уважаемая Александра Сергеевна! Благодарим вас за интерес к программам Фонда. К сожалению...

Дальше даже не читаю, подавив ком в горле. Дальше всегда одно и то же.

— Алис? Что там? — любопытствует подруга.

— Всё нормально. Ничего.

— Это они? Фонд?

— Мажорский фонд мажорских Северских отказал мне в мажорской стипендии, — ворчю я. — Какая неожиданность. Кто бы мог подумать, что они не хотят видеть у себя девочку из гребанной «Миндали».

— Лис...

— Нет, правда, я в шоке. Я была уверена в своих шансах. С моими-то связями. С моим-то папой-губернатором, — с сарказмом бросаю я.

— Они просто идиоты, — говорит Даша мне в плечо.

— Они богатые идиоты. Это еще хуже.

Я выпутываюсь и беру поднос. Шампанское само себя не разнесёт.

Он подходит ко мне у служебного выхода, когда я выношу пустые бутылки.

Я замечаю его сначала по ботинкам. Чёрные, начищенные. Весь пол в коридоре заляпан мокрыми следами от курьеров и поваров, бегающих курить на улицу. А его ботинки сухие.

Потом поднимаю взгляд. Мужчина лет пятидесяти. Седой ёжик, тёмно-серое пальто, руки в карманах. Лицо незапоминающееся — типичное, каменное, не выражающее никаких эмоций. Мужчина смотрит не на меня, а чуть левее моего плеча.

— Алиса, — обращается мужчина.

— Вы ведь обслуживаете гостиничные номера?

— Да, а что?

Он достаёт из внутреннего кармана сложенные купюры. Не вытягивает пачку целиком, просто показывает, сколько там лежит. Пятьдесят тысяч. Рыжие пятитысячные, перетянутые банковской лентой.

Я перевожу взгляд с денег на я его лицо.

— За что?

— Отнесёте бутылку вина в семьсот семнадцатый номер. Там остановился мой деловой партнёр. Скажете, что это подарок от Виктора. Он оставил для меня документы в белом конверте. Без надписей. Заберёте и принесёте сюда.

— Почему сами не отнесёте?

— Через десять минут у меня встреча, на которую я уже опаздываю.

— Тогда попросите администратора.

— Уже просил. Они отказываются передавать через персонал любые личные документы гостей.

Я невольно усмехаюсь. Конечно, отказываются. У них есть инструкции.

— А вы думаете, я соглашусь?

— Думаю, пятьдесят тысяч за пятнадцать минут работы — неплохие чаевые.

Он произносит это буднично, словно речь идёт о пятистах рублях. Без давления. Без улыбки. Просто констатация.

Я смотрю на пачку.

Пятьдесят тысяч.

Я устала. Не сегодня, а вообще. Устала бегать между столами с подносом над головой. Устала улыбаться по регламенту людям, которые смотрят сквозь меня. Устала, что меня хлопают по заднице, как лошадь на ярмарке, а я должна сказать «спасибо» и подлить шампанского. Устала считать мелочь в банке и каждый вечер делать вид, что это когда-нибудь станет билетом в Питер.

Два года на побегушках. Подай, принеси, убери, улыбнись. «Девушка». «Эй, ты». «Алиса», прочитанное с бейджа, как кличка.

Вспоминаю письмо из фонда. «К сожалению...». Даже мечту у меня отобрали вежливо, на бланке, с уважением. И ладонь того мужика из зала, которая до сих пор жжёт сквозь атлас.

Не соглашайся.

Я учусь на юриста. Прекрасно понимаю, что незнакомцы не раздают такие деньги просто так. Но он ведь не просит меня ничего красть. Утверждает, что хозяин номера сам отдаст конверт. А в коридорах гостиницы — камеры. Если что-то пойдёт не так, всё будет записано. Я смогу доказать, как всё было на самом деле.

Наверное, именно эта мысль окончательно меня убеждает.

— Деньги вперед. И сто тысяч, — в надежде на то, что он откажет, произношу я.

Впервые он смотрит мне в лицо. Коротко, на долю секунды. И мне кажется, что он доволен: как будто я правильно ответила на вопрос, которого он не задавал.

Сто тысяч ложатся в кармашек моего поясной сумочки. Тяжёлые, как камень.

Дальше все происходит, как в тумане. Служебный лифт пахнет хлоркой и пригоревшей картошкой. Я держу поднос с бутылкой красного и двумя бокалами и смотрю, как заго-

раются цифры. Пять. Шесть. Семь.

Двери разъезжаются.

На седьмом этаже расположены люксы. Здесь другой воздух: тихий, плотный, пахнувший дорогим деревом и лилиями из вазы в конце коридора. Ковёр глушит шаги так, что я слышу только, как бьётся моё сердце и как тихо позвякивают бокалы на подносе. Номер семьсот семнадцать прячется в самом конце коридора, рядом с вазой лилий. Я стучу.

Дверь открывается почти сразу, как будто за ней ждали.

— О. — Мужчина в проёме разглядывает меня с ног до головы. — А я заказывал девчонку? Неважно. Заходи. Заходи, красotka.

Ему за сорок. Белая рубашка расстёгнута на три пуговицы, рукава закатаны, на запястье часы, которые стоят дороже квартиры в центре Петрозаводска. Красивое лицо, подпорченное хорошим виски: глаза блестят, на скулах пятна. На безымянном пальце блестит кольцо. Он пахнет алкоголем и одеколоном с нотами табака.

Мужчина явно пьян. Но не настолько, чтобы это успокаивало.

— Вам передали вино, — говорю я профессиональным голосом. — от Виктора.

— От Виктора?, — повторяет он и улыбается. Улыбка обязательная, мальчишеская, совсем не подходит к его глазам. — Ну надо же. Решил всё-таки загладить свою вину?

— Сказал, вы оставили для него документы. Я могу их

забрать?

— Документы? — Он хмыкает. — А сам прийти побоялся?

Номер огромный. Ковёр цвета слоновой кости, окно во всю стену, за ним огни набережной. На журнальном столике ноутбук, пепельница, бутылка виски, но уже наполовину пустая.

И белый конверт. Без надписей.

Он лежит прямо у края стола, под стаканом с недопитым виски.

Я ставлю поднос рядом и не смотрю на конверт. Открываю бутылку, хоть и руки дрожат.

— Налей себе, — произносит он у меня за спиной.

— Нам нельзя.

— А мне можно всё, — он оказывается рядом, слишком близко, и его ладонь ложится мне на запястье. Пальцы горячие и влажные. — И тем, кто со мной, тоже можно всё. Ты знаешь, кто я?

Нет. И не хочу.

— Человек, который сейчас прольёт вино на ковёр за соток тысяч, — говорю я. — А мне потом оттирать.

Он хохочет, запрокинув голову, и отпускает запястье. Наливает два бокала до краёв и суёт один мне в руку.

— За смешных. Их мало осталось. Пей.

Я делаю глоток. Вино терпкое, тяжёлое, обжигает пустой желудок.

Он падает в кресло, вытягивает ноги и кивает на тарелку.
— Порежь лайм, а? Виски без лайма не пью. Привычка с Майами.

Виски с лаймом. Ну конечно. Майами.

Я беру нож.

Ручка гладкая, тяжёлая, чуть прохладная, и ложится в ладонь так удобно, будто её делали под мою руку. Я прижимаю лайм к тарелке и режу. Сок брызжет на пальцы, кислый запах проникает в ноздри, перебивая запах табака и одеколона. Четыре дольки: ровные, как учили на кухне. Я кладу одну ему в стакан, а нож опускаю обратно на тарелку. Лезвием от себя. Ручкой к краю.

— Умница, — говорит он и отпивает. Морщится от кислого, довольный. — Знаешь, я сегодня прощаюсь.

— С кем?

— С прошлой жизнью. — Он поднимает палец и тычет им в потолок. — Завтра я сдаю одних очень серьёзных людей. Очень. Серьёзных. И сегодня мне можно всё.

Его телефон на столе вздрагивает и загорается. На экране вместо имени — одна буква: С.

Он смотрит на экран. И весь хмель вдруг сходит с его лица, как вода с гладкого камня. Лицо становится серым. Трезвым. Испуганным.

— Мне нужно ответить, — говорит он глухо. — Не уходи.

Он берёт телефон и выходит на балкон. Задвигает за собой стеклянную дверь. Я вижу его спину, до меня доносятся

ся обрывки разговора: «...я же сказал... нет, послушай меня...»

Я не думаю и хватаю конверт, быстро спрятав его в декольте. Бумага холодит кожу. Ставлю стакан на место, ровно на мокрый круг, который он оставил на дереве.

Балконная дверь отъезжает.

— Ты ещё здесь? — Он стоит на пороге: бледный, с телефоном в опущенной руке. Смотрит на меня так, будто впервые видит. — Иди. Иди отсюда. Быстро. Беги, я кому сказал!

Голос у него другой. Не пьяный. Не обаятельный.

Он боится? Но чего? Здесь камеры везде...

Я ухожу, ощущая, как сердце переходит на бег. Странная история... в которую я зачем-то ввязалась. Надеюсь, все обойдется.

В служебном лифте я прижимаюсь спиной к стене и закрываю глаза. Конверт под платьем прилип к коже. Сердце колотится где-то в горле.

Сто тысяч, черт возьми. Всё. Это всё. Больше никогда.

Шесть. Пять. Четыре.

Лифт вздрагивает и останавливается между этажами.

Свет мигает. Гаснет. Загорается тусклая аварийная лампочка, и кабина становится жёлтой и тесной, как коробка.

Тишина.

А потом сквозь толщу стен, сквозь бетон и металл, я слышу сирену.

Одну. Вторую. Они нарастают, сливаются, воют прямо под

окнами отеля. Внизу кто-то истошно кричит. Хлопает дверь, а потом раздаётся раздирающий слух, топот. Я вздрагиваю от голоса, высокого и сорванного: «Седьмой этаж! Семьсот семнадцатый!»

Я перестаю дышать.

Семьсот семнадцатый.

Я была там четыре минуты назад. Пила его вино. Слышала его «иди отсюда».

Я сползаю по стенке лифта, начиная осознавать весь ужас происходящего.

Ты знаешь, кто я?

Завтра я сдаю очень серьёзных людей.

Иди отсюда. Быстро.

Мой бокал. С моей помадой. На его столе...блядь.

Двери открываются на первом этаже, и мир взрывается светом и звуком.

Служебный коридор забит людьми. Повара в колпаках, горничные, наши официантки в красных платьях: абсолютно все жмутся к стенам. Я замечаю, что нет ни единого квадратного метра, на котором нет полицейского. Синие отсветы мигалок пляшут на кафеле.

— Всех сотрудников банкета — в зал! — орёт кто-то. — Никто не уходит!

Я ищу глазами седой ёжик и сухие ботинки.

Его нет.

У служебного выхода, где он стоял двадцать минут назад,

пусто. Только мокрые следы чужой обуви на полу.

Нас сгоняют в банкетный зал. Музыка давно выключена. Сто двадцать гостей, только что оравших «горько» имениннику, стоят притихшие, растерянные, хоть и у кого-то в руках ещё остались бокалы. Ведущий в блёстках сидит на краю сцены и вытирает лоб.

Даша находит меня в толпе и хватает за руку. Ладонь у неё мокрая.

— Алис, там кого-то убили, — шепчет она. — На седьмом. Мне Ленка с ресепшена сказала. Прямо в номере.

Я не могу ответить. Язык прилип к нёбу.

Даша вглядывается в моё лицо. И я вижу, как до неё доходит. Медленно, как трещина по стеклу.

— Ты же... — она понижает голос до шёпота. — Тот мужик в пальто. Он тебе что-то предлагал, я видела в коридоре. Ты взяла бутылку...

— Даш, — я сжимаю её пальцы так, что белеют костяшки. — Даш, я ничего не делала. Я отнесла вино и ушла. Он был живой. Слышишь? Он был живой, когда я уходила.

Она кивает. Быстро, много раз подряд.

— Всех, кто обслуживал седьмой этаж, — говорит полицейский у дверей, листая что-то в планшете. — По камерам видно — девушка в форме официантки, светлые волосы и высокий хвост, примерно в двадцать один ноль пять заходит в семьсот семнадцатый.

Сотня голов поворачивается, оглядывая официанток. Нас

здесь двенадцать. И только у двух светлые волосы.

У меня и у Даши.

— Ланская, — говорит наш администратор, Инга. — Алиса Ланская. Она брала вино на седьмой.

Пол уходит из-под ног, пока ко мне направляется полицейский: молодой, лет двадцати пяти, со шрамом на подбородке. За ним второй, чуть постарше.

— Документы.

Я наклоняюсь к сумочке, чтобы достать права, но при легком наклоне, белый конверт, прилипший к блузке, медленно сползает вниз и падает на паркет.

Прямо к ботинкам полицейского.

Тишина такая, что слышно, как в углу гудит холодильник с шампанским.

Он наклоняется. Поднимает конверт двумя пальцами в перчатке.

— Это ваше?

— Нет... То есть... Меня попросили. Мужчина, в сером пальто, седой, он заплатил мне...

— Заплатил, — повторяет второй полицейский. Голос у него скучный. — За что?

— Отнести вино и забрать конверт. Он сказал, это сюрприз для партнёра.

Кто-то из гостей фыркает. Кто-то шепчет: «Ага, сюрприз». Я слышу, как это звучит. Я сама бы не поверила.

— И где этот мужчина?

Я оглядываю зал. Сухих ботинок нигде нет. Седого ёжика нет.

Высокого человека в чёрном пальто тоже нет.

— Он ушёл, — говорю я тихо.

— Кто-нибудь видел этого мужчину? — громко спрашивает полицейский у зала.

Тишина.

Я поворачиваюсь к Даше.

Она стоит в двух шагах. Потом в трёх. Отступает медленно, как отходят от собаки, которая может укусить. Губы белые.

— Даш, — говорю я. — Скажи им. Ты видела. Ты сама сказала, что видела нас в коридоре.

Даша смотрит на полицейского. На конверт в его руке. На меня.

И я вижу, как она совершает ещё полшага назад. Один маленький шажок, но он черт возьми, громче всего в этом зале.

— Я ничего не видела, Алис, — говорит она. — Прости. Пальцы холодеют изнутри.

Полицейский надрывает конверт. Заглядывает внутрь и хмурится. И вытаскивает то, что там лежит.

Не деньги. Не документы. Не флешку.

Фотографию.

Мою фотографию. Ту самую, из анкеты в Фонд Северских: я в Дашином красном шарфе смеюсь, потому что Даша

за кадром строила рожи.

А на обратной стороне, чёрной ручкой, аккуратным почерком выведено одно число.

17.

Глава 2

Николас

Ночью на острове всегда слышно шум моря.

Оно бьётся в скалы под западным крылом с тупым упорством, как пьяный в запертую дверь. Я не закрываю окно. Холод помогает думать.

Вике холод не нравится. Она уже дважды сказала об этом капризным голосом, кутаясь в мою рубашку, а потом перестала говорить вообще: нашлось занятие поинтереснее. Рубашка соскальзывает с её плеч и остаётся где-то на полу. Она устраивается в районе моих колен: тёплая, гибкая, пахнущая чем-то сладким и дорогим. Её губы касаются уголка моего рта, потом подбородка, потом спускаются ниже, к шее. Медленно, со знанием дела. Она знает, где задержаться, где прикусить чуть сильнее, где провести языком так, чтобы по коже пошла дрожь. Её этому учили, или она научилась сама — мне всё равно. Главное, что получается.

Вторая, рыжая, которую я так и не спросил, как зовут, сидит на краю кровати. Её ладони ложатся мне на грудь и скользят вниз, по рёбрам, по животу, неторопливо, словно

у нас впереди вся ночь. Ногти слегка царапают кожу. Потом её пальцы находят пряжку ремня. Прохладные и уверенные, они расстёгивают её одним движением, не глядя.

Вика шепчет мне в ухо что-то бессвязное, горячее. Её дыхание сбивается, бедра двигаются в медленном, ленивом ритме. Рыжая наклоняется, и её волосы рассыпаются по моему животу, пахнущие морем и чужим шампунем. Губы касаются кожи чуть ниже пупка, и я на мгновение закрываю глаза.

Их привёз катер в восемь вечера. Утром тот же катер их увезёт. Деньги уже на счетах. Всё просто, и в этом весь смысл. Никаких вопросов, сложностей, никаких «а что будет потом» и «что между нами».

Я откидываюсь на подушки и позволяю им делать то, за что им заплатили. Четыре руки, два рта, два горячих тела, которые точно знают, чего от них ждут. Тело отзывается так, как и должно: дыхание тяжелеет, кровь стучит в висках, мышцы живота напрягаются под чужими губами.

Но сознание остаётся безучастным к происходящему. Словно всё это происходит не со мной.

На прикроватной тумбочке, рядом с бокалом, к которому я так и не притронулся, лежит её папка.

Тонкая, тоньше, чем я ожидал. Двадцать лет жизни умещаются в сорок листов: школа, колледж, который она бросила, съёмная комната, бар на Лиговском. Фотография с камеры наблюдения: она стоит за стойкой, волосы собраны ка-

рандашом, смеётся над чем-то, чего не видно в кадре.

Рядом с кассой стоит стеклянная банка. Мелочь, мятые сотни и надпись маркером: «НА ПИТЕР».

Она копила, чтобы уехать. Я знаю о ней даже это.

— Ты вообще здесь? — Вика поднимает голову, обиженно щурится.

Я запускаю пальцы ей в волосы и мягко возвращаю обратно. Это вместо ответа.

Сверху в папке лежит её отказ. Бланк приглашения, через весь лист выведено «НЕТ». Буквы такие большие и злые, что ручка местами продрала бумагу.

Конечно, нет. Было бы разочарованием, если бы она согласилась. Те, кто соглашаются сразу, ломаются в первую же неделю. Мне не нужен сломанный человек. Сломанные вещи ничего не стоят, их не на что обменять.

Пташка.

Так её называет Филипп. Я слышал это в записи их телефонного разговора: «Спи, пташка». Голос мягкий, почти нежный. Очень неосторожно с его стороны произносить такие слова там, где их может услышать кто угодно.

Рыжая тянется выключить лампу. Я перехватываю её запястье.

— Оставь.

Мне нравится видеть, когда они заглатывают мой член глубоко и бесстыдно. Всегда.

Телефон на тумбочке начинает вибрировать.

Вика стонет с досадой и пытается накрыть его ладонью. Я убираю её руку, не глядя, и подношу трубку к уху.

— Да.

— Мы ее взяли, — говорит голос на том конце. Глухо, буднично, будто сообщает прогноз погоды. — Тихо. Соседка не дёрнулась.

— Лицо?

— Целое. Как вы и сказали.

— Хорошо.

Я сбрасываю вызов. Через несколько секунд приходит фотография. Бетонный пол, свет из коридора, тёмные волосы, рассыпанные по хлорке. Щека прижата к полу, на скуле ни царапины.

Я долго смотрю на снимок. Дольше, чем нужно.

Рыжая, решив, что разговор окончен, снова склоняется ко мне. Её дыхание тёплое, волосы щекочут живот. Я почти позволяю себе отвлечься.

Телефон оживает снова.

На этот раз на экране имя: Гордеев. Гордеев не звонит по пустякам. Гордеев вообще не любит звонить, он считает, что телефоны слушают все, и в этом он прав.

Я отстраняю рыжую ладонью, как отодвигают бокал, и сажусь.

— Слушаю.

— У нас проблема, Николас Андреевич. — Гордеев говорит быстро, глотая окончания. — Её братец. Филипп этот.

Поднял шум.

— Какой шум?

— Обзвонил всех, кого мог. Нашёл адвоката, хорошего, из московских. Написал заявление в прокуратуру. Утром они будут в отделении с бумагами.

— Утром её там не будет.

— Я понимаю. Но он не успокоится. Он уже спрашивал про остров.

Пауза. Море за окном набирает силу, бьёт в скалы так, что дрожит стекло.

— Откуда он знает про остров?

— Не знаю. Пока не знаю.

Я молчу. Вика за моей спиной перестала дышать: она чувствует перемену в комнате, как животные чувствуют грозу.

— Хорошо, — говорю я наконец.

— Хорошо? — Гордеев явно ждал другого. — Николас Андреевич, если он...

— Пусть ищет.

— Но...

— Пусть ищет, — повторяю я. — Пусть найдёт адвокатов, журналистов, кого угодно. Пусть знает, куда ехать. Не мешай ему.

Я кладу трубку, не дожидаясь ответа.

Он спрашивал про остров. Значит, он умнее, чем я думал. Или быстрее. Это хорошо. Это даже лучше, чем я планировал.

— Кто там? — Рыжая заглядывает через плечо, и я гашу экран раньше, чем она успевает что-то разглядеть.

— Одевайтесь.

— Что? Мы же только...

— Одевайтесь, — повторяю я, не повышая голоса. Мне обычно никогда не приходится его повышать. — Катер утром. Вас проводят в гостевое крыло.

Они собираются быстро и молча, как люди, которые понимают, когда спорить бесполезно. Вика у двери оборачивается и смотрит на меня с чем-то похожим на обиду. Я не смотрю в ответ.

Дверь закрывается. Становится тихо, и только море продолжает биться о скалы в ровном ритме.

Я встаю и подхожу к окну. Внизу, у причала, горит одинокий фонарь. К рассвету придёт ещё один катер, и на нём будет она.

Говорят, месть — блюдо, которое подают холодным. Это неправда. Моя месть давно не холодная, а ледяная. Я годами носил её в себе, как осколок, который хирурги побоялись доставать. Привык к нему. Научился с ним дышать, есть, улыбаться на советах попечителей. Ложиться в постель с теми, чьих имён не помню.

Её отец думал, что всё закончилось. Что если сменить фамилию, город, жизнь, прошлое останется там, где он его бросил.

Прошлое никогда не остаётся там, где его бросили. Оно

просто ждёт.

Как я.

Мне не нужна её боль. Её страх тоже не нужен, хотя он, конечно, будет. Мне нужно, чтобы она была здесь, в этих стенах, под моей подписью в каждом приказе.

В тёмном стекле окна отражается мой силуэт, а за ним чёрная вода.

— Добро пожаловать, пташка, — говорю я морю.

Море не отвечает. Оно умеет ждать не хуже меня.